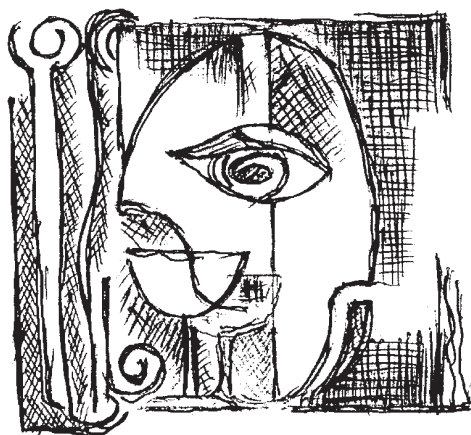


Между снов и ветров



Содержание цикла:

Игорь Чернавин 7

Амид Ларби 48

Евгений Скригин 49

Виктор Мудролюбов 77

Игорь Трофимов 93

Артем Домченко 112

Сергей Ерёменко 134

# Игорь Чернавин

г. Санкт-Петербург



1975-1982: студент физфака ЛГУ с глубоким погружением в литературу (особенно — американскую). Писать начал в 1976 году. С 1982 — геофизик, кастанедовец и андеграунд.

---

Из интервью с автором:

*Цель этого цикла — через проживание текста читателем предъявить ему возможность альтернативного взгляда на повседневность и ее реальность, как вариант части «пути внутри себя».*

## 1. К богу и наискосок

Весна, глухая стена желтоватого дома напротив. Дом — как бельмо на глазу, но в нем при этом живут. Комната — эти обойки ее, два накривь-вкось косяка, еще картина про стену в окне и два ствола от деревьев. Клочок от неба над крышей соседнего дома — как без конца оно светится серым. И не понять, куда смотрит. В нем есть и перетекания, больше и меньше, по самой мягкости их понимаешь — все и само расплзется.

Сон за пределом реального. Просто сказать — так не хочется жить, но организм-то пока существует, и есть сознание о прошлом, и недоумение — это сознание о настоящем. Есть часть сознания о том, что должно было бы быть не в этом сером объеме, но — ускользает все время. Пространство вокруг свернулось, я как-то сам это сделал — я не включен ни во что дальше взмаха. «Глобус» сторел, нет ролей для актеров. Я — есть, и был — что я-есть, и есть — что буду.

По углам над перекрестком, как над объемной открыткой, как будто нависли тени. «Курская улица по городу идет, Курская улица на запад нас ведет...» — в страну По-пиву, в страну совсем небольшую, где в ряд четыре ларечка. Там, правда, рядом всегда «марсианские хроники», что допились до хронической стадии бога войны, но я смогу их «не видеть». Банка холодная и день прохладный, хоть по-апрельски и светлый, стыло, но лень застегнуться. Плащ на мне, будто на вешалке, стыдно, но ничего не поделать. Книжный магазинчик — в окне обложка альбома с лицами очень серьезных блондинок, а под ними крупными буквами «Овощи». Мизантропия хихичет, многое хочет добавить. Мысленно ей отвечаю — «В них есть хорошее, что не находит дороги». В другом окне неприятный плакат, на нем Эйнштейн показал свой язык — что-то я, правда, не понял, с чем-то хотел бы поспорить.

Я вышел из магазина продуктов и смотрю под ноги, разницу я замечаю не сразу — вместо потока машин по Лиговке мимо идет Крестный ход. Странность дала зренью линзу. Вот первый ряд, человек на пятнадцать, поравнялся со мной — и все попы в позолоте до пяток, и все несут — будто флаги, хоругви. Но это ладно, я вдрут замечаю поверху, что лес совсем не редееет — молча, идет их ударная сила — может, рядов двадцать пять — с бородами. Каждые метров пятнадцать спиной к тротуару стоит по менту. Позолочен-

ные чувствуют мое вниманье, и я встречаю их взгляды. Через совсем небольшой интервал от попов идут толпой христиане — тоже у многих иконы. И, вообще, само тело колонны, теперь прихожан, уже существенно мрачно, сами их взгляды недобры. Вот кто-то жутко хромает, вот даже катят коляски с блажными. Эти вокруг мало смотрят. Этот поток, так и есть, подлиннее — я вижу спину моста над Обводным, там все вползает, колышется масса — идет от блеклого неба. А золоченые ушли уже за квартал, я вспоминаю их лица — интеллигентные вроде бы люди. Куда они все пошли — ведь через пару кварталов заводы — там и гулять некайфово, а до Московского все ноги стопчуг. Они идут за «эффектом плацебо». Но, наконец, их ряды поредели. Хоть кто-то верит не в деньги, Корыстный ход, он страшнее, чем Крестный.

Я ухожу во дворы, здесь спокойно — нету ни ветра, ни шума — солнце рассеяло все-таки дымку, после зимы первый раз обогрело. И я вхожу, ухожу в это теплое поле. Воробьи дико галдят надо мной, а вот — пытаются и размножаться. Гляжу на них, как котяра. Может быть, это назвал бы я богом — когда вокруг все благое. Мысленно я провожу эти линии — от моей комнаты до этой точки, я шел навстречу толпе, развернулся, но, все же, важное мне направление иное — наискось, к этому тоже.

На детской площадке в оправе кустов я присел на скамью — а где еще посидеть, есть сквер для взрослых, но он вплотную к проспекту — там сплошной гул от машин, невозможно. Здесь могут «заментовать» меня с пивом, мамочки начнут кричать про куренье, но, если что, я согласен. Перед скамейкою лужа, можно сидеть только с краю. Напротив мама с ребенком лет двух, но молодая — не страшно. Мальчик в голубеньком комбинезоне стоит, держа лопатку как саблю. Тихо, может, смогу отойти от нагрузки. Мальчик пошел возле края площадки — как-то смешно наклонившись всем телом, ноги почти не сгибая: top-top — «...топают малыш».

С треско-шипением открылась банка в ладони — я смотрю на руку, и я сочувствую ей — надо ж, вот так попахала, что заскоружла, не чувствует банку, болят суставы на пальцах. Но заказ сделал, неплохо. Даже в душе пустота, «непонятка» — как без станка и без камня. Перед ногами стеклянно блестели песчинки.

Что-то меня привлекло, и я вздрогнул. В метре напротив стоял тот ребенок, причем смотрел «не по-детски». Круглые щечки на

круглом лице, чуть заострявшемся книзу, круглые очень большие глаза — серая радужка, цвета титана, черный зрачок, тоже круглый. И ни малейших эмоций. Ну и давно ли он тут..., я не слышал. Шапочка кругло лицо окружила, и даже пальчики — как из кружочков. Одно вниманье. «Кто ты...» — Спросил я его про себя. Он не ответил и не шевельнулся. — «Дух у тебя, точно, есть, это видно...» Молчит и смотрит. Он даже не шевельнулся. «Вон уже мать твоя к нам зашагала. Кстати, а ты во что веришь...» — Он повернулся, пошел через лужу — и от меня, и от мамы. Все же сложна топология в нашем пространстве.

## 2. Матрешки

Ноги идут в переулок, где куст сирени усыпан цветами. В темно-зеркальном стекле — меня нет, только безликая личность меж очень длинных подтеков — полубезобразен, обезличен. В каплях воды отражается лишь настоящее на настоящем. Как изменилось лицо за последние годы — стало совсем уже странным. Капли воды на стекле собираются в струи и бегут вниз — все изменяют, пытаются смыть, только у них не выходит. Пустой парадняк — я стою так, скрестив ноги, и я курю, слушая шорох его, глядя на ставший уже сильным дождь. Высокая дверь квартиры невдалеке — вход в смутный мир, затаивший дыханье, где нищета и достоинство грязи. Как постовой возле их мавзолея, я вписан в раму проема-коробки. Но мне не нравится цвет этой рамы — он половой, мрачно-ржавый, впрочем, и фон — удаляюще-серый, и даже место — ну что за портрет, если я справа и сбоку. Кто меня вставил, чтоб так рассмотреть — взвесь из дождя и нависшая туча. Поверх бордового мутного зданья и я смотрю на нее, но, что ей нужно — не вижу.

Я не спешу, но я занят — есть еще то, что пульсирует в прошлом, на чем пора, но пока не сумел, наконец поставить точку, иначе мне никогда до конца не уйти и из небольшого кафе, из того утра и ноты, не перестать быть таким вот...

...Я поднимаю глаза от стола и смотрю на лицо, и я живу им. Нет бога круче Ван-Гога — мне даже вновь начинает казаться — где-то я видел такую картину — такой портрет из мазков — цен-

ность из истинной жизни, в этой его не бывает, только на дне в подсознании. И, лишь задумавшись, долго идя внутрь себя, можно найти его, всплыть, поднимая с собой те неизвестные в жизни потоки, выбросить через поверхность. Это лицо ее из бирюзовых светящихся пятен то отдаляется, то превращается в нечто иное, но только в чем-то всегда совпадает с реальным. Все в ней безумно красиво, это ломает все чувства и прожигает действительность, душу. Невероятная и утонченная лепка лица не отпускает сознание. Медные чуть удлиненные очень объемные пряди точно очерченным контуром падают от гармоничного лба, от плавных век, слабых ямок висков..., а прихотливая бабочка-губы словно придуманы кем-то. Глаза Алисы, которая здесь заблудилась, сама создав лабиринт-паутину. Все на лице крайне четко, все остальное, в сравнении с ней, слишком грубо. Даже смысл жизни перед тем лицом исчезает. Все, что вокруг — примитивный объем, но он становится вдруг бесконечным, и остается лишь видеть. Здесь, как бы за звуковым барьером — там, где слова не имеют значения, тишина все же не полная: то стук кастрюль наверху, то где-то чьи-то шаги — по-настоящему тих только я, но как раз дело в обратном — я это крик среди ваты, а пустота меня вновь не пускает. Я еще вижу, что было недавно.

...«Я» в самом центре матрешки. Рядом, стоит тишина, в ней только блеск. Тихо, и все теперь тихо. Все до нее было легким, пустым, что-то теперь стало важным. Вся шелуха исчезает, через меня вдруг проходит пространство. Свет убирает остатки теней, и что казалось реальным, уходит, да про него и не помнишь, нет даже и удивления. Ты, как и все, словно стал из стекла, больше не стало отдельного, раз все прозрачно. Сама материя здесь растворяется, когда приходит большое — все снова стало идеей. Чуть-чуть звучит лишь структура. Кто кого более выдумал — не разобраться — может, и я середина всего, а, может, я накопление чувства, и это мир в меня смотрит. Я даже знаю, наверное, что-нибудь скоро убьет во мне это. Но ничего не поделать с улыбкой — к этому я не привык, как не спешить и не делать. Было когда-то здесь облачко, как бы такой самолет — давно распалось, цветам не нужно стоять слишком долго. Я — будто был только дымом, и меня ветром размыло до фона. Я лишь сижу на гранитной ограде ступеней, у входа в метро, и я смотрю на других, как на море покоя. На дальнем пла-

не — энергия. Воздух — ладонь с тонкой кожей. Как на листе архитектора, еще в эскизе, по сторонам от проспекта, ряды домов — в пересветленную даль перспективы. Все наверху слишком легкое, но только выше глаза не поднимешь — им даже так почти больно от света. Мелкий осколок стекла на асфальте или случайный кусочек фольги все пробивают насквозь своим блеском. Электросварка апрельского солнца, как и ее отражение в луже, они весь мир расплавляют, делают зренье излишним. Если ж смотреть всем собою, кажется, словно большая фигура тихо скользит где-то рядом, выбрала здесь себе место. Есть другой вид. За ней поток: две удаляющихся плоскости сверху и снизу, а между ними река до предела. И снова свет, но после этой реки, он почему-то мне кажется темным. Самое важное — выбрать подарок, это рецепт настоящего счастья. Я, встав, иду в «переход». После зимы, только что, даже стены помыли из шланга, и только блеск под ногами. Я — «Грейс в огне», вся голова — куст из света, кажется, есть и такая гравюра. Как живет тело — чуть развеивается на мне пальто, я теперь только танцующий мальчик, хочется просто пинать водосточные трубы. Я как бы падаю прямо вперед через звонкость — от лоскута голубого в то, чем действительность, может, должна все же быть — тоннель слепящего блеска. «I'm» емь «апёстол» сияющей веры.

...Красота — код, открывающий дверь, и даже верхние двери на башне, куда уходят дух, разум; код оживляющий душу, и все во мне лишь стремится наверх, и все звенит в связи с нею. Настежь, внутри и снаружи. Я могу только смотреть, изменяясь. И она рядом, но в странном рисунке. Жизнь рассыпается, будто песочная горка. У всех своя иерархия чувства и в центре своя структура. Она безумна внутри своей цели-клише — благополучие-имидж, как бог, романтично, а мои ценности — мир-артефакт, ей это странно. Каждый рисует другого — своим отношением, и они вместе рисуют реальность. Я думал, что видел душу, а вышло — она только натурщица чувства. Мне даже чудится — ее давно подменили — монстры играют роль фрейлин. Может быть, это готический дух — рыжий, и острые ушки, и язычок — тоже длинный, он меня видит, не любит, но весел. Я ощущаю ее «свет сознания» и понимаю предельность структуры, но... леди — сон, и этот сон меня просто не видит. Только обломки вниманья. Чем Буратино, мне ближе был тот — там с ним в смирительной белой рубашке..., но даже плакать сейчас бесполезно — я и не умею. Все и во мне теперь тихо, если



смотреть с этой точки. И мне пора уходить, а она остается. Если я встану, то плоскость вокруг разбежится. Жизнь — та же фэнтези, нет этой грани.

Прошлое кончилось, что-то вмешалось, жизнь после многих смертей надоела. Не в первый раз получилось, когда мне было настолько светло, тогда я слишком поверил. Все было только идеей.

### 3. Их город

#### Взгляд и иное

Я просто взгляд с угла крыши — должен смотреть вниз на двор. Я взгляд всегда черно-белый и подслеповатый из-за слегка сероватого снега, вечно идущего в моем пространстве. Я знаю, что у других этот снег не идет, у них лишь вечная ясность. Я утонул в этом мире, в его проявлении. Внизу блестит еще черный асфальт. Я хоть не вижу, но знаю — что и вверху чернота в струях сухой снежной пыли, но мне не холодно, всё здесь — картинки. Мой угол зрения градусов тридцать, это меня утомляет, но нету смысла менять направление. Я еще знанье того, что я вижу — память-сравнение и разум, но я почти равнодушен. Неинтересно быть только лишь взглядом, а интереснее думать, глядя еще и в себя, чтоб до конца проживать элементы эмоций. Можно еще смотреть в пятна, чьи спичко-ножки шагают, и уходить вместе с ними. Вот кто-то вышел из двери подъезда.

...Черный Ковбой, или проще — ЧК, вышел за двери салуна и посмотрел мрачным взглядом. Рука привычно двинулась к револьверу, но остановилась — что он забыл — он не помнил. Сонный Носатый здесь размыл ЧК, но сзади хлопнула дверь — он даже съежился, тогда ЧК возвратился. Нужно дотронуться пальцем до шляпы — ЧК пошел вдоль газона. Агент был просто агентом — немного сгорбившись в сером плаще, он лишь скользил мимо дома — этот сканировал взглядом пространство. Он не знал, зачем, и не знал себя — и нет лица, и нет кожи, лишь силуэт в этом мире. Вдруг сверху слабо блеснуло, и он присмотрелся — там была камера для наблюденья. И часть из полупрозрачного зрения он в себя тоже

здесь принял. Теперь он понял — зачем-то нужно себя донести, чтоб принимать в телефоне призраков многих чужих ситуаций.

Возле подъезда машина мигала огнями — то вопиет, то бесовски мяучит, чтобы не дать здесь теньям стать злобным действием мрака, видимо, ее вспугнули касаньем. Вот вдалеке силуэт, на лице полумаска из полусвета мобильного в бледном экране, скоро он весь станет лишь отражением. Он, наконец, огляделся — существование навязчиво плотно, стала уже проступать и синюшность рассвета, сыро, и ноги замерзли. Гулкою аркой он прошел под домом. Рядом толпа — остановка. Кругом одни усредненные лица — светлые пятна с глазами. Странных мир создал существ, все — лишь движения в слое. Они пришли из своих небогатых квартир, из своих трудностей, чтоб ехать к новым. Может быть, каждый отдельно и есть человек, но вместе — племя чужое. Полуболезненно он улыбнулся, а, впрочем, здесь можно все, так как все поймут иначе. Рысью, суча восьминожками из ребордовых колес, пришел, скача и стуча, слишком красный трамвай, и все поперли на зев освещенной двери, внутрь — в чьи-то спины, затылки. Сыпясь, снежинки ему щекотали нос, скулы. Полгода здесь полужимье или уж совсем зима, шесть часов в сутки — один полусвет, а потом стадии ночи. Небо набрякшее, как будто взгляд алкоголика сверху. Переходя через мост, он опять улыбнулся — холодно уточкам в страшной воде на Обводном канале, в прошлом году он им туда бросил шапку. От фонарей кисти рук его тени были как кончики крыльев сутулых пингвинов.

Радостно на голубых освещенных билбордах, они — весеннее утро во мраке. Бред социального мира. Все здесь как будто стремятся к комфорту, но выбирают свою полунисцель. Хотя действительных выборов здесь не бывает. Либерализм, то есть волчий закон, где «агнцы» сами волков выбирают. Если взглянуть на историю, то она список обманов. Если б когда-нибудь все они были нормальны, при любом строе здесь было б неплохо. Хочется только держаться подальше. Гладко-лобастыми тварями мчатся машины, а люди в них превратились в смотрящих. Все кругом чьи-то машины; в автомобиле сидит человек, в нем — его глупость, программы. Если так было задумано — сюрреалистом. Если стандарт их безумен, то трезвый взгляд здесь становится сюрсом.

Как всегда сбегая, как падаю, по эскалатору вниз. Сто к одному из них справа, стоят — им ждать нетрудно, да и они не особо стремятся к их целям. Или их взгляд оловянно не верит, или внутри него кружит, чтоб превратить в них самих же. Скользит и катится вниз эскалатор, и убегают назад, и в меня, отблески белых светильников на сероватом «люмине», на черном поручне-ленте. После последней ступени идут — потоки прямо навстречу, каждый из них в своем праве — пройти сквозь них всегда сложно.

Переменяясь со стонущим звоном, идут объявления — математическим матом через матюгальник. «Самостоятельно не обследуйте обнаруженные ...длинномерные предметы». И, наконец, все, размазавшись, стихло, я смог услышать возникшее чувство. Там наверху нет дороги в естественном смысле, множество снова — ничто, и здесь нет тоже. Но все же, кажется — тень «в шубуне» где-то ходит по рельсам, ищет хоть здесь отпечаток. И впереди два канала тоннелей — как бы глаза наизнанку, но почему еще сзади..., где-то они разветвляются и упираются в стены, снова идут через вспышки сознания. Станция, прямоугольность, влево и вверх — а ей так лучше, это давление форм — торжество идиота. Свет мутно-рыж. Пыль, смутность зрения создали мир удивительно честный. Мрамор колонн был красивым — кость бывших жизней любила, но превращается в сальность, и, как бы, в смысл отторжений.

Обыденность, она — как сон. Они смирились — не видят. Она — колонны и воздух, ее пространство устроено так, чтоб было больно настолько, что сама боль притупится. Все предыдущее — цепь из начал, без завершения является всеми. Если всмотреться, то тусклость вцепляется в глаз всем ее множеством точек. И остается скользить по поверхностям, не прикасаясь. Даже сюда просочилась идея объема, но здесь она превратилась в болезнь. Здесь даже гулкость глухая. А вся способность объема вбирать не имеет здесь смысла. Что получается, это так странно — те, кто живут, до конца удивились. И, окончательно, сюда добавили чуть веселящего газу. Передвижение здесь ничего не меняет, если идти — только «между». Все занимается только своим бытием и не решает реальных вопросов. Все неустойчиво, тает, я — взгляд слепого на их совокупность. Их очень много. Так как все множество их запредельно для лично-связного знания, все растворила в себе анонимность. Имя, как код их истории и ожиданий, для настоящего здесь неизвестно. За анонимностью следом идет безъязыкость. Все здесь как будто

конкретно, у всех вещей есть граница, они тебе улыбаются, рады — вдруг ты придашь им их смысл — они поглотят его тогда вместе с тобою. Но я во времени-тени. Главное — это пройти через пятна — есть ощущение, что стоит пытаться, что можно выйти куда-то, как из метро, на поверхность явлений.

Но всюду лица чужих серых жизней с тихим страданием собаки, поевшей картошки. За полосами испачканных мазутом рельс на очень длинной стене ближе к горлу тоннеля плакат-реклама — «Поликлиника с человеческим лицом — гинекология», фотография — загоревшие и белозубые задницы-лица. Я не могу, нашили место, ну сколько все это можно. Словно вселенная, из черноты накатила «паровоз», вот кто-то вышел, орда ломанулась в вагоны, и меня вдруг закружило и зашвырнуло кому-то на ногу. Мир меня перемещает. Здесь духота, теплота чьих-то тел, и непонятно куда деть лицо, чтоб не задеть им покрашенных хною волос. На остановках волны давленья от двери меня загоняли все глубже, но становились слабее. И даже кто-то читает: парень — паскудный журнальчик, женщина — женский роман, я посмотрел — наклонился. Вон там мужчина с газетой кроссвордов — ребусы мира в картинках, сам мир — издание получше. Вагон качало, как в танце «дурной паровоз», уши закладывало и раскладывало, опять остановка. Совсем прижали к стеклу. Как у них выглядит место в душе для других..., а у меня оно выглядит этим вагоном.

Я — бормотанье в реальном у этой замкнутой двери вагона. Раньше я видел себя небольшим, не судил, и мир казался огромным, теперь, как минимум, мы с ним на равных. Как будто вспучилось чувство — неволю все вот это. Я опускаю лицо в него, как будто в воду, стал как пятно внутри капли — низ ее весь оплетен черными стеблями почти по пояс. Прежде внутри меня было пространство, теперь — нехитрый объемчик, причем заполненный тусклою грязью. Вокруг меня — звон у края, а все, что дальше — картинки. Все, что я вижу, неясно, как шевеленье за гранью, но жестко знает свой принцип.

Когда они рассосались, можно пойти даже сесть, долго ища, где действительно можно — то сидит полная женщина с сумкой у бока, или такой вот абрек, вдоволь раскинувший ноги, или смотрящие с легким прищуром. Пусть даже тел стало меньше, но все

равно слишком много вокруг их очень плотных явлений, что постоянно приходится видеть. Я становлюсь сам таким, принимая.

Есть те, кто посовременней — эти как яйца из камня. Они обычно бывают двух типов: первый — «культурный» и второй — не очень. И причем первый страшнее — у них внутри тот же бред, только чистый, и, потому побеждающий больше. Всех их вскормили резиновой соской. Директор школы сказал на прощанье, ему наверное так показалось, что я могу «зазнаваться» — «Ты только знай, лет через десять все будут такими» — лет через двадцать смо-рю, без тонких частностей, стали ...похожи — в части культурки, одежды; только «такими» не стали, им — даже простой вопрос «почему» это заумь, так же живут, как и жили. Как будто бы от-ступая назад, я от всего отстраняюсь.

Но так еще некомфортней — вокруг остались их биоскульпту-ры. Они физически плотны, но не живут в настоящем. Все они чем-то похожи хоть на кого-то из виденных раньше. Вокруг совсем небольшой уникальности чувства на их лице вся их история лич-ных событий с тем, что ее сотворило. Как не сменить планы смер-ти, не изменить план их жизни. Едут в свое добровольное рабство, потом обратно — где дом, телевизор, и нагревать под собой свое место. Они не знают мать-тьму, они не верят и в свет. Армия со-противленья-захвата — это они затвердели в ответ на кромешную подлость и сами стали такими. Было бы целое — было б стоглазо, остановиться бы им, оглянуться, но в глубине лица слепы. А если «быть» это так, как «они», то я тогда не вполне бытие, и, значит, кто-то из нас привиденье.

Я не могу с ними быть сопряжен — как кашлю масла с водой, меня нельзя смешать, а удалять — сложновато. Все они едут куда-то и проживают свое, фоновое осозная реальность, а я же — фо-ново еду-живу, перпендикулярно к тому я вырастаю куда-то. И я, вмерзая в них, вязну, и прорываюсь, чтоб, продвигаясь в таком из-мереньи, найти-построить иное.

Закрыв глаза и увидел — там белый клоун ломался на сцене, я даже понял, что начал дремать, и хорошо — пусть появится лег-кость. Рациональность, как будто моргание, вдруг и опять поменя-ла картинку — как на экране в придурочном желтом объеме двое напротив друг друга. Чей-то мобильник на станции вдруг заиграл,

и глаза сами открылись. Теперь напротив меня была женщина с мордочкой от Нефертити. Вновь мигнул свет, здесь уже мне выходить, и на меня нажимают. Что-то во мне еще тихо жило, я не подглядывал и не мешал, просто остался стоять на платформе, засунув руки в карманы. Но только легкая паника — я вдруг поплыл вместе с полом, так незаметно пошел рядом поезд. Кто-то тянул его пыльные окна, чтобы заткнуть ими глотку тоннеля — за ними месиво слипшихся тел, полуспрессованных лиц — словно пощечины, окна и свет, ускорялись.

Даже меня увлекало, но я устоял, как я сюда и пришел, так уйду, и меня в этом не будет — найду другие отсчеты. Ну а они, все такие, будут здесь ехать веками. Здесь ничего не дает мне надежды, есть только та, что всегда за спиной, перед чем дурь отступает. Ну, посчитал-посмотрел, за пределом сознания-меня, даже в такой капле взгляда без смысла — «не потеряв своей логики, выйти из логик явлений».

Я простучался ногами по камню. Все на работу, толпа успешила, поверх последних, как выход, виден ползущий наверх эскалатор. Только и там, наверху, все «подземно» — там опять будут дворы, углы крыш — все внедрено в этот город-реальность. Ступень эскалатора слабо дрожит подо мной, а зев тоннеля сползает за спину. Так много лет в этом роде. Скоро широкий контакт сократится до одного-двух общений зараз, чтобы под вечер опять разрастись и уже к ночи исчезнуть. Почти абсурд, он у них и внутри — метро и мир с серым небом. Может само оно так захотело, или же кто-то придумал, но вот такая реальность — фуффло, не реальность; а если все же реальность — чужая.

### **Про перспективу и ретроспективу**

В городе тихо. Прямоугольный сарай на колесах — четыре черных и круглых баллона одновременно подпрыгнут на кочке. Нас обогнал большой джип — как будто сверху на нем пулемет, и он почти побеждает. По тротуару шагают фигуры, все механически движут — телом, руками, ногами. Они снаружи глядят сквозь стекло, взгляд может быть оловянным, режущим, давящим — разным, но, все равно, им плохо видно даже сидящих у окон.

Серые стены и серые стекла тихо твердят — «все едино». Не различается все — безразлично. Чтобы подумать о том, что же именно думать, нужно сначала иметь установку. Взгляд, будто озеро, серый, и я такой же. И ухо слышит кругом белый шум, его совсем небольшие частицы и пустоту между ними. Нет поводов для удивлений, и, значит, нет для надежды. Здесь уже не закричишь — нету смысла. Душа пустая, как пропасть. Мой мир во мне развалился. И лишь одно помогает — непобедимая сила терпенья. Все будто копии от одного — все, как один, здесь чужие. Будто бесцветное мясо — гемоглобину, наверное, мало, причем заморожены, в то, что они надышали, и нет вокруг кислорода — бескислородные глюки. Невыносимая скука, хоть все вполне фантастично.

Не люблю лица — чужие, свое, в каждом лице своя крепость — беда, обман или жесткость. Каждый из них непреложен в его особом сознании. Пока на них не надавишь, они ничто не изменят. Все давно плотно живут этим миром, но до сих его будто не видят. Все отгорожены, и слава богу, ведь если с ними сейчас пообщаться, как от ожога крапивой — будешь потом недоволен. Каждый король в его сказке. У них для себя не банален поток их чувств, но это просто иная банальность. Оптиволоконный у них тип сознания — при очень узконаправленном свете, при попадании в их линии жизни, видно вдруг полумультяшную яркость. Конец пучка, когда моменты их жизни — скопище шмелей-циклопов, все на тебя с одним глазом. Но, стоит чуть отстраниться, все глухо — формы в дешевых, как ватники, куртках.

Объединенье их странно. И объяснение «демоном» вполне подходит — как будто вправду невидимый «очень большой» здесь овладел почти каждым сознанием. И его способ въедаться в мозги — быть органичным со средним. Хоть есть всегда варианты, но своя дурость роднее, так как здесь все «очевидно». Лицо облеплено, горло забито множеством всех отражений от точек — каждая создана ими. Вместе они составляют картинку. Эти иллюзии даже казались мне жизнью. Мир их следов и следов рук — субследовое пространство.

Куда пропал этот день — непонятно, они порой исчезают годами. Красный, болезненно-красный свет цифр на узком лбу у трамвая и на обмене валюты, свет, убивающий зренье, но сохраняющий фотобумагу. Полупрозрачный идущий вниз холод от капель.

Странное небо довлеет сверху, цвет его якобы черный. Все не звучит, все затерто, все в перевернутой черной реке облаков, переползающих стены проспекта. Это мой дом и бездомность. Во мне притятия к внешнему нет, и его нечего ждать, ведь впереди у меня лишь я сам, и нет взамен ничего — не умею.

...Есть, безусловно, и разные виды внимания: в моменте дня — когда смотришь вокруг, и — когда вдруг попадаешь, как в коготь, в то, что в душе накопилось. В последний год, будто движусь по линии графика — то улетаю в какие-то ямы, выславшись — приподнимаюсь, но общий уровень — к низу. Вокруг, как будто свисают вниз нити, но их, конечно, не схватишь. Весь мир из прошлого колом стоит в голове, в груди, в эмоциях, в чувствах. Нагроможденья событий все оказались не нужны.

Вокруг, я знаю, миры снов-сознаний. Неопределенность сходящей сюда темноты сама чего-то рождает — я смог легко допустить, что за плечами ко мне приближаются лица — с кем был знаком, все с выраженьем почти что хорошим. Я был когда-то притянут их светом. От них здесь все и зависит — они все мне присудили молчать, ну а себе — быть незримыми глазом. Странно, ведь я все отдал, и им идти за мной незачем больше. И спорить с ними нельзя — раньше и незачем было, ну а сейчас бесполезно — что непрактично быть просто практичным, быть, например, непорядочным глупо. Я был не прав, когда что-то от них захотел, и, соответственно, они тогда от меня захотели. Нет маловажных деталей — все они потом стреляют. Все это я видел раньше, всегда, только зачем-то не верил. Собственный взгляд мой распался, и я смотрю их глазами.

Лязгнула сзади решетка под аркой. Тут поворот, не люблю повороты. Вечная яма в асфальте.

У каждой роли есть маска. Ты в чем-то слаб, и тогда она, будто чулок, мнет твои черты лица в напряженьях, они уходят внутрь в душу. И им навстречу всплывает такое, что ты и знать-то не хочешь. И уже даже внутри для тебя не остается пространства. И говоришь то, что стыдно. А потом с этим приходится жить, очень стараться не помнить, и много раз снова вляпаться в это. Если уж черт угораздит родиться опять, я бы хотел это помнить...

Я был всегда убежден — самое глупое, что может быть, это судить не себя в том, что с тобою случилось. Не то чтоб я поглупел, просто вижу сейчас — жалко, что верил в чужое. Никто об этом меня не просил, но я судил по лучшим их сторонам, не ожидая



иного. Лохов здесь любят, и за фантазии нужно отдать натуральным. За все хорошее я заплатил, но я не видел, чтоб кто-то платил за плохое. Думаешь, они на что-то никак не пойдут, так как не смогут жить с таким позором — нет, ведь живут, не страдают, но вот уже много лет мне видеть их неудобно, и дно — двойное, тройное... — им мир уже не учитель. Стоит их вспомнить, почти ото всех сразу становится тошно, от остальных — тоже гадко, но позже. Кто, кем, за что осужден — или вот это их норма? Но безнадежней другое — все теперь неинтересны.

Полупустое пространство двора — стены здесь под цвет картона, несколько окон сверху желто-красны — видно свисание люстр, свет их въедается в щеки, а остальные все черны. Может быть, тамто и есть потусторонние лица — от них волна раздражения, и ноги вязнут в песке коридоров. Я не завидую тем, кто внутри — здесь воздух больше. Хочется даже услышать здесь низкий звук труб. Было бы правильно, если бы был под ногами провал, куда бы все улетало, но нас таких пустота не приемлет. Пусть даже кто-то нацелит сюда большой палец, только измажет об черный асфальт, он ничего не придавит. Клен, словно поднял вверх руки, но сам не знает, зачем это сделал, и они там истончились. Темные хлопья летят позади, впереди пусто, мандражно.

Сколько раз вывернешь ты этот мир — столько получишь другую изнанку. Все выгибается в нечто иное, только, отчасти, ты сам остаешься.

## 4. В калейдоскопе

### Про пржевальскость

Душа это, может быть, то, что увидел когда-то. Голубизна, почти ставшая синью, неразличимые вихри. Если прикрыть глаза, то скоро в них видишь жизнь — в них тоже есть свое дело. Днем облака здесь редки — те, что отстали, лишь еле ползут, чтоб уже ночью в траве стать росой или спуститься на камни. В очень большом — до границ с фиолетовым маревом, что поднимается до черноты, ультрамарине, пропитанном светом, им все неважно. И пятитысячный ставший уже ледниками хребет они не видят. Там мне лет

пять, и плоскость мягкой воды Иссык-Куля. На само солнце смотреть здесь нельзя, но невозможно не чувствовать света. Все было потусторонним. Возле арыков, создав воде тень, шли тополя, как шуршащие свечи. В более плотной тени от садов не было слышно ни звука, кроме другого шуршания. Улицы шли, уходили, в них по утрам даже было прохладно. Центр был наивней — на тротуарах жар просто давил — не те деревья, тень их лежала внизу островками, стены домов и асфальт, нагреваясь, лучились.

Там десять сорок утра и воскресение, лето. Спали, наверное, все, я шел по коридору. Там, среди тел из чужих непонятных мне снов было действительно дурно. Мои «сандали» среди другой обуви так и стояли. Упершись лбом в металл дверной ручки, я вдруг почувствовал, что меня ждут, и даже стены вокруг это знали. Шкурки мгновений из прошлого стали теперь за чертой. Я потянул за собачку и вышел — чувства усилились, стало спокойней. Все вокруг было одной тишиной, это она говорила. Я глядел сразу вокруг — чуть-чуть иначе, чем там на Урале — синий здесь жестче. И я присел, и смотрел на их дом, и был одним ожиданием, и я почувствовал, что здесь прохладно. Пространство, залитое белым потоком от солнца, было шагах в десяти, я просто вышел из тени. Все небо сверху палило меня. Хоть тишина была также и здесь, но не такой прирученно-домашней. От тени дома до бесконечной песчаной горы — все меня словно сжимало. Я огляделся — песок, голубизна, больше нет ничего, а, что звучало, шло сверху. Но подниматься пришлось очень долго, не один раз я вставал, видя, как пыльный песок под ногами меня увлекает назад, и я сползаю обратно. Были спокойствие, радость. Я даже не удивился, когда, замерев и упираясь руками в колени, вдруг, обернувшись, увидел — я уже выше домов, где-то на уровне острых вершин тополей — и между ними — зеленоватую стену воды и, к ней, дорогу и домики порта. С каждым усилием только лишь ног света кругом было больше. Я встретил ящерку — и она двигалась вверх, остановилась, почувствовав взгляд и, развернувшись, спустилась. Мы изучали друг друга. Солнце сжигало мне голову, спину, оно старалось меня уронить в раскаленный песок, но это было неважно. Я уже знал, что меня позвало, что тишина — отзвук неба. Я ощущал его токи — от его звона, летящего вверх от песка, до тихих светлых течений. Как меня ящерка, я вбирал все, и становился гудящим. Что-то невидимой легкой рукой перемещало меня, делая всем этим небом.

Глубина света слилась с глубиной темноты. Там было что-то живое, был как бы голос огромных. Он говорил, но не мне, объяснял, и где-то там мы совпали. Даже сам свет, отраженный песком, стал уже давним. Чуть-чуть не выйдя наверх на плато, я сел в песок. Все еще лишь начиналось — я стал совсем равнодушен, сразу мог видеть все, что вокруг, глядя перед собою. Я был во всем, все шептало. Все — тень от света. Грани, углы иногда велики, и можно даже приблизиться к краю. Я там смотрю до сих пор, но мои мысли — фрагменты. Когда потом я сошел, съехал вниз по песку, все уже залило солнце, и было слышно вокруг: «С добрым утром». Мне стало здесь неудобно, голову слабо кружило — значит, побыть человеком.

Я — больше то, что увидел тогда. Из-за того я полюбил потом горы и цвета-звуки органа. Через то небо я вижу. Те ощущения были неясны, но в результате реальней, чем вещная данность. Там появилось какое-то качество, что потом всюду влияло по жизни. Можно построить конструкцию слов, чтобы назвать это свойство, но только проще сказать «пржевальскость».

### Про речку Каргу

Да, я — вода, часть блестящей воды — как, если взглянуть с улицы на окна дома. Я был частью ручья — очень прозрачного, мелкого, перетекавшего возле травы по округлым камням — они коричневы сверху, но, если их взять и разбить, тогда стеклянно-блестящи. Я был ручьем и играл, обтекая округлые камни, возможно, я их не касался, но был очень близко от них — крутился, негромко шумел и плыл над ними, был легким. Даже не чувствуя их, я поднимал иногда со дна стайки песчинок, перебирал их, сгонял в облачка — и сам не знал, что же это такое. Кто-то глядел в меня сверху — я даже чувствовал смутные лица, блеклые, как голубоватое небо за ними — они были совсем не важны и оставались всего лишь тенями, которые очень легко забывались. Лица смотрели в меня, на меня, я и не спорил — играл и немного жалел их, я им показывал радость. Наверное, это родители, и рядом я, но только тело, а вокруг — покрытые дерном, короткой травой, поляны, гладкие, перетекавшие в мягко взлетающие склоны. Повсюду — над ними и между них — голубоватое детское небо. Потом, подальше, наверное, я был рекой, и содержал в себе всё — все

течения, застывшестъ. А за холмами был город — разнообразие стен, углов, окон и солнечных бликов на стеклах — как будто все окна недавно промыли, а стены решили не чистить от пыли, целые реки асфальтовых улиц и тротуаров — в том желтом городе тоже жил свет — солнца и бледного неба, так же, как я, он был тоже веселый. Кроме асфальта там были газоны с разлитым в них светом. Цвет стен был бледным, в согласии с сонностью неба. Углы домов переплетались. Это был город, где я становился ребенком, и этим городом тоже. Надо мной иногда были птицы, но им было трудно подолгу кружить в бесконечно-задумчивом небе, и они иногда исчезали. Я был ручьем, и когда возвращался назад, мои детские ноги болели от дальней прогулки, однако внутри был прозрачен, перетекал через эту усталость. И все же еще я был светом и ветром над низкой травой, и, что важнее всего — небом. Был и домами, и стенами, их светло-желтой окраской, но и при этом я к ним прикасался. Город был теми камнями на дне, воздух был мною, водой, а песчинками — люди. Лицо, загорев после долгой прогулки, само ощущало улыбку.

Не удается подолгу быть в прошлом. Опять брожу в коридорах сознания, что я ищущий, в самом деле. Еще недавно я был опять на Урале, там само небо и воздух несут в себе что-то. И я был весь влит в реку, в лес — в их и мои перспективы. И даже умным там быть было мелко. Смыслы не образы, это заряд, и смысл не есть расшифровка.

### **О представлении смыслов**

Видимо, из-за таких эпизодов я и стал мыслить иначе. То, что там было, не говорит ничего для всех обыденных целей и типов сознания — оно от глаз до затылка прошло всю голову, не задержавшись, ничто ему не мешало, и только в самом пределе дало почти абстрактное знание, сформировало привычку.

...Однообразие это тропа водосвинки — завтра опять на работу, той же дорогой, в то же время, чтоб заработать убогие деньги. Разум здесь есть одинокое дело. Логика ходит по кругу. Что жив, что нет — жить-умирать можно только собой, но когда включен в явления, сам можешь разве что думать. И никогда уже лучше не будет — ну не считать же за лучшее отпуск — восстановиться б,

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)